

ЗИНАИДА МИРКИНА

ГУЛАГ и заповеди Христа

Может быть, многие телезрители не стали смотреть фильм (опять о Ленине). Приходится задним числом объяснить, что они потеряли. «Завещание Ленина» — условное название закрытого письма, в котором больной Ленин предлагал устранить Сталина от руководства партией. За распространение этого письма Варлам Шаламов получил в 1929 году свой первый срок. В 1937 году все бывшие участники студенческого кружка, давно отошедшие от политики, были арестованы вторично. Шел Большой террор. Организаторов группы расстреляли. Варламу Шаламову дали пять лет; на Колыме ему прибавили еще десять. Вернулся он оттуда только через семнадцать лет, одиноким чужаком, без права жить в городах с населением больше десяти тысяч, с книжкой стихов и планом «Колымских рассказов», вошедших в русскую и мировую литературу.

В отличие от «Штрафбата», созданного тем же режиссером, Николаем Досталем, «Завещание Ленина» — не притча; оно опирается на документы — на прозу Шаламова, на его стихи, его дневники и живые свидетельства Ирины Сиротинской — хранительницы шаламовского архива. Но благодаря небольшому режиссерским сдвигам и замечательной игре актеров вся трагедия Колымы становится зримой. Особенно хочется отметить И. Муравьеву и А. Трофимова (родители Варлама), И. Класса и В. Капустина (Шаламов в разные его годы). Перед нами, как в библейском пророчестве, облакаются плотью кости, вставшие из вечной мерзлоты. Фильм стал событием, глубоко поразившим всех, с кем я говорила о нем. И мне хочется начать разговор даже не собственно о фильме, а о том, что он пробуждает в душе; какие вопросы ставит перед нами. В чем мы виноваты? И если виноваты, то возможно ли и нужно ли покаяние?

В телевизионной передаче, предварявшей демонстрацию «Завещания Ленина», Ирина Павловна Сиротинская выразила сомнение в возможности покаяния: «Будут каяться те, кто ни в чем не виноват, — сказала она, — а виноватые все равно ни в чем каяться не будут». Возможно, это так. И все-таки, если обратиться к немецкой параллели, то самые виноватые предстали перед Нюрнбергским судом. А остальные, составившие большинство немецкого народа, в 1946 году признавали Гитлера величайшим политиком

«Завещание Ленина (Варлам Шаламов)». По мотивам произведений Варлама Шаламова. Авторы сценария Юрий Арабов, Олег Сироткин. Режиссер Николай Досталь. Оператор Алишер Хамидходжаев. Художник Алим Матвейчук. Композитор Владимир Мартынов. Звукорежиссер Александр Фокин. В ролях: Владимир Капустин, Александр Трофимов, Игорь Класс, Елена Лядова, Ирина Муравьева, Тимофей Трибунцев, Инга Стрелкова, Анна Рудь, Елена Руфанова и другие. Кинокомпания «МакДос», киностудия «Эталон-фильм». Россия. 2007

немецкой истории... Они были виноваты или нет? Были или нет виноваты миллионы, боготворившие Сталина, рыдавшие и давившие друг друга на его похоронах?

Покаяние немецкого народа я считаю одним из чудес XX века. Сегодня большинство немцев глубоко стыдятся Гитлера. Это другие немцы. Другой народ.

Когда лет двадцать назад у нас в гостях был один немецкий профессор



«Завещание
Ленина»,
режиссер
Николай Досталь

и мы с мужем говорили, что ставим знак равенства между Гитлером и Сталиным, он страстно возразил: «Гитлер хуже, — говорил немец. — Гитлер — это война. Когда я был в Аушвице и видел детскую обувь, мне стыдно было говорить на немецком языке».

Григорий Померанц писал, что истинный патриотизм — это сочетание гордости и стыда за свой народ. Если есть только гордость без стыда, народ теряет истинное самосознание, он пьянеет и, наконец, духовно деградирует.

Мы гордились войной в течение десятков лет. СССР был родиной слонов. А стыд? Его мы не знали. Этому нас не учили. Мы были всегда самые первые, самые лучшие, самые-самые...

Есть у Марка Харитоновна роман «Два Ивана». Иван Грозный и Иван-дурак, Иван — юродивый, Иван — святой. Святость незаметного человека из народа, его невероятные страдания и чудовищные преступления царя. В эпилоге романа остаются два человека — слепой и поводырь. У поводыря нет ни языка, ни пальцев. Язык вырван, пальцы отрублены по велению царя Ивана. А у слепого глаза выколоты. И вот поводырь водит слепого, а тот поет песни, прославляющие царя Ивана Васильевича. Какая долговечная метафора...

Народ, переживший коллективизацию и потерявший за время нее 10 миллионов человек, народ, который обрекали на голодную смерть, народ, потери которого на войне доходят до 26 миллионов, народ, превращаемый в рабов, в лагерную пыль, потерявший в годы террора неведомо сколько миллионов, — народ этот рыдает у гроба своего палача — и прославляет его до сих пор.

Что это? Какой симптом? Признак чего?

У Василия Гроссмана в повести «Все течет» есть рассказ героини о своем комсомольском прошлом, когда она вместе с другими убежденными товарищами раскулачивала зажиточных крестьян. Она говорит, что все проводившие эту кампанию были как будто одурманенные, точно их зельем колдовским опили. «Кулаки» были для них «нелюдями». Даже к их ребенку брезговали прикоснуться. Их полотенцем не могли руки вытирать...

Анна Сергеевна рассказывает это с глубоким стыдом, с великим покаянием. Первая брачная ночь с любимым человеком превращается в ее исповедь перед ним — великим страдальцем, судьба которого во всем подобна шаламовской. «Я красивая была, а все же плохая, недобрая, — говорит она. — Ты меня не полюбил бы тогда и красивую... А я смотрю на тебя, как на Христа». Вот такое опоминание, вытрезвление и исповедь необходимы были бы нашему народу, всем народам нашим.

В начале перестройки я была потрясена фильмом Абуладзе «Покаяние» и думала, что именно по такому пути мы и пойдем. Что будет опоминание, стыд за то, что было. За то, что дали себя зомбировать.

Нет, ничего этого не произошло. В начале перестройки Горбачев говорил о необходимости нового мышления. Не получилось нового мышления.

Мы ушли от сталинизма и идей, приведших к нему, вовсе не из-за преступлений режима, а из-за того, что он вел и почти привел к экономическому краху. Одно с другим мало связалось. Посчитали, что, переменив экономические ориентиры, сразу можно стать нормальной демократической страной. Не вышло этого. Был преступный социализм, который перешел в бандитский капитализм. Между тем прилагательное (или эпитет) здесь важнее существительного. Это мое глубокое убеждение.

Обратимся к фильму Н. Досталя, вызвавшему все эти мысли. Вот кадр: двое молодых солдатиков ведут ээка Шаламова к месту, где ему должны вынести новый приговор. А этот доходяга идти не может. Досада невероятная! Ведь туда, куда идут они, должны привезти фильм «Свинарка и пастух». Неужели опоздают?! А не пристрелить ли его? Объяснение простое: попытка побега, вот и всё. Не пристрелили. Но лишь потому, что этот подконвойный, обессиленный, лежа на земле, рассказал им содержание фильма. И все-таки на фильм-то опоздали, и, пожалуй, жалко им, что не пристрелили...



«Завещание
Ленина»

Кто они? Злодеи, вроде Сталина и Гитлера? Да нет, самые обычные люди, каких много. Люди, воспитанные на том, что род человеческий не весь состоит из людей. Есть люди, а есть нелюди: нелюди — это кулаки, бывшие буржуи, ээки. Особенно политические. Конвоиры — люди. А этот доходяга — нелюдь. Вот в чем главное.

Этот «нелюдь», будучи мальчиком, козленка не мог зарезать даже под угрозой нешуточного гнева отца. Не мог. Выше его сил. Ну, а эти воспитаны так, что человек может быть ниже козленка. Подумаешь — ээк, враг народа. Стреляй, и всё.

Это тянется с очень давних времен. Христос для толпы тоже был нелюдь. Люди — это те, которые правильные, те, которые, как все, те, которые могут гордиться своей правильностью.

Есть в Евангелии знаменитая страница о Христе и грешнице. Грешница и вправду согрешила. И по закону ее следует побить камнями. Христос много раз говорил, что Он пришел не нарушить, а исполнить закон. Он и не нарушает. Он только просит этих вполне довольных собой людей обернуться на



«Завещание
Ленина»

себя. Прежде чем судить другого, сумей разобраться в себе. Только и всего.

Думаю, что вот такое мышление необходимо нам. Как его назвать? Новым или очень старым, но за 2000 лет так и не усвоенным, не знаю...

Вот уж чего не привыкли советские люди, так это разбираться в себе и судить себя. Куда там! Мы самые правильные, самые лучшие.

Начальник конвоя, только что ударивший старого священника так, что сбил его с ног, спрашивает Шаламова, вступившегося за старика:

— Ты в Бога веруешь?

— Нет, — отвечает Варлам Тихонович.

— А почему?

— Потому что существование ваше опровергает существование Бога.

— Бог есть, — говорит ему начальник конвоя. — Я — твой бог.

И показывает свою полную власть над ним. Так вот и расплодилось маленьких богов. Гитлер или Сталин для них великие боги, сами они, слуги великих богов, — маленькие боги. А заключенные — тварь дрожащая. Так, как мыслит Раскольников, герой Достоевского.

В Германии людоедский режим продержался всего двенадцать лет. И террор был направлен большей частью вовне и в первую очередь на евреев и цыган. Немцы, противящиеся режиму, все-таки физически сохранились и работу по покаянию было кому проводить. Прежде всего это делали немецкие христианские демократы, социал-демократы и, конечно, администрация победителей, контролировавшая процесс.

Вернемся к фильму. Шаламов выбирается с Колымы. В Москве он встречается с женой, с Пастернаком и со своей незнакомой дочерью. Когда оставил, ей был год. Теперь — восемнадцать.

Приехал он не один — со всеми тенями замученных, со всеми стонами и криками страдальцев. И увидел, что здесь, в мирной жизни, он такой вот — всё помнящий, готовый кричать за всех и от имени всех, — не нужен. Невозможен даже.

Самое страшное, может быть, — встреча с молодежью — со своей дочкой и, позже, с сыном друга-зэка, сыном, который жалеет, что отец его — враг народа — не умер. Собственная дочь не очень понимает, зачем этот неведомый отец к ним приехал. Сама она донельзя чужая, приклатненная.

Жена? Жена хочет одного — чтобы он забыл прошлое и жил, как все люди. И она хватается за слова Пастернака, который советует Шаламову оставить мысли о мести.

Любимый поэт сказал именно это. Так что, забыть все, как Галя? Этого он не может никогда, ни за что. Может быть, все-таки Пастернак и Галя говорят не одно и то же? И великий поэт отличается от обычной запуганной женщины с не слишком большой душой?.. Женщины, которая сразу после ареста мужа принялась лихорадочно сжигать его рукописи.

Их выхватила из огня другая, сестра ее, понимавшая душу Шаламова и меру его таланта. Но эта другая — Ася — погибла на Колыме. А Галя хочет жить, жить и забыть. С Галей они теперь чужие. Это понятно. А вот Пастернак... Его он не понимает. Во всяком случае, при всем пиетете, согласиться с ним не может.

Варлам Шаламов в Бога не верит. Существование Колымы опровергает для него существование Бога. После Освенцима и Колымы заколебалась вера не только у Шаламова. Возник термин «теология после Освенцима». Вера должна была или рухнуть или измениться. У многих и многих ускользала почва из-под ног. Бога-защитника, который не допустит самого страшного, — не было. Все допустил — от голодомора и повальной коллективизации до Колымы и гитлеровских газовых камер.

Потерял Бога и герой эпопеи Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», замечательный человек по фамилии Иконников. Потерял всякую надежду на опору вовне и вдруг нашел эту опору внутри, увидев простую крестьянку, помогавшую закланному врагу только потому, что он был ранен и страдал. Может, она и не знала вовсе заповеди о любви к врагам, и о Боге, и об абстрактном Добре (с большой буквы, которое ополчалось на другое Добро, то есть другую Идею), но в сердце ее жила безымянная, «безыдейная», подлинная доброта, которую Гроссман назвал «дурацкой добротой». Всякая боль была ее болью. Существование этой «дурацкой» доброты убедило Иконникова в существовании Бога. Она перевернула его душу. Он понял, что есть святыня. Есть то, что не любить невозможно. Бог не внешний судья и Владыка. Бог — это чудо, которое живет внутри человеческого сердца. Он это видел. Спорить с этим было невозможно. За это можно жизнь отдать, что он позже и сделал. Отдал жизнь за ее смысл.

Наверное, то, что было в этой крестьянке, можно увидеть и в Асе, Галиной сестре. Смертельно больная, она вытаскивала из колодца тяжеленные ведра воды. Только такой ценой могла получить клочок бумаги, чтобы написать записку Варламу. А потом разносила эту воду по палате и поила больных женщин, быть может, менее больных, чем она сама. За это ей ничего не давали, только ругали. Но она не могла не помочь больным. И погибла, потому что за лекарство надо было отдаться врачу. Не могла этого. Не могла отдать смысл жизни за жизнь.

Ася — один из самых пронзительных образов, созданных в фильме. Он дан Анной Рудь очень лаконично. Наверное, не все ее и заметили, но те, кто заметил, не забудут.

Теология после Освенцима напоминает книгу Иова. Все друзья Иова, уличавшие страдальца в недостатке веры и призывавшие его, безвинного, к покаянию, все они напоминают теологов до Освенцима, а может быть, и тех книжников и фарисеев, которые точно следовали написанным словам, не пережитым ими, не рожденным в их сердцах.

Они предлагали покаяние самому праведному человеку. И тогда, возмущенный, он проклял их Бога, смотрящего на страдания извне.

Думаю, что таким подлинным человеком, таким праведником был Варлам Шаламов. Когда на склоне лет он спросил молодую женщину, полюбив-

шую его: «Что ты нашла в больном старике?», она ответила: «Вы — настоящий». И этот настоящий человек на вопрос, какую мораль он признает, отвечает, что никакой новой морали нет. Есть десять заповедей. Они остаются для нас незбылемыми. К ним он прибавляет еще одиннадцатую: не учить, не навязывать своего пути другому.

На этом основании некоторые исследователи отрицают неверие Шаламова в Бога. Их можно было бы понять, особенно если вспомнить, что первая из десяти заповедей есть заповедь о любви к Богу. Они уверяют, что и эту заповедь Шаламов чтит, ибо был верен самому глубокому, самому благородному в себе. Всё так. Но все-таки сам Шаламов говорил, что верить в Бога не может. И говорил правду.

Верить в Бога в прежнем традиционном значении этих слов теперь, испытав все нечеловеческие страдания, может быть, и вправду нельзя. Верить в Бога может теперь, после Освенцима и Колымы, только тот, кто узнал Бога, встретился с Ним. «Я не верю в Бога, я знаю Бога», — говорил св. Силуан. А митрополит Антоний хотел бы, чтобы церковь истинная состояла бы из таких вот людей, знающих Бога, встретивших Его. А знать Его можно только изнутри, открыв Его в собственном сердце. В содрогнувшемся сердце, ясно ощутившем, как бьют Бога, как издеваются над Богом, распинают Бога.

Бога, внешнего нам, Бога, отделенного от всех нас, — нет. Отделенное от нас божество, обладающее плотью и распоряжающееся чужой плотью, — это кумир.

Истинно живой Бог — тот, которого невозможно увидеть глазами, — Дух, живущий внутри нас, соединяющий нас в любви, таинственным образом давший нам жизнь и ставший смыслом этой жизни. Этого живого Бога мы бьем, и Он кричит.

Он кричит во всех мучениках, как кричал в Иисусе Христе.

Можно спорить и судиться с Богом, обрекшим мир на такие страдания, можно вернуть Ему билет на всеобщую гармонию, как это хотел сделать Иван Карамазов, а можно почувствовать вдруг, что возвращать билет некому, что ты сам и истец, и ответчик в одном лице. Вне тебя никого нет. А глубоко, глубоко внутри тебя кричит Тот, кого замучили в каждом ребенке, в каждом эзке. Теология после Освенцима — это теология после Распятия.

Всемогущество Христа не в том, что Он может сойти с креста, прекратить муку свою, а в том, что Он в силах вынести всю беспредельную муку и остаться живым — совершенно живой душой, в которой не поколебалась ни на миг Любовь к источнику жизни и ко всему живому. Такая душа и есть воскресение и жизнь вечная.

Пастернак говорил в конце своего потрясающего стихотворения, устами Магдалины:

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Вот что почувствовала Магдалина: душа может ожить даже после такой страшной потери, после такого предельного страдания. И не мстить надо, а надо дорасти до воскресения — вот чего хотел Пастернак.

Библейский Иов, как и колымский, был во всем прав, был праведен. Но пока от отделен от Бога, он сам бесконечно болен и нуждается в исцелении. Кто может исцелить его? Тот, кто не бросит камень в его неверие, в его срывы, в его ожесточившуюся душу.

Портреты Шаламова, данные в конце фильма, поражают. Его лицо заставляет замереть сердце. И мне вспомнился вдруг портрет Настасьи Филипповны, увиденный князем Мышкиным. Князь был потрясен великой внутренней красотой этого лица, запечатлевшего бесконечно много страдания. Он был готов, как рыцарь, служить Настасье Филипповне. Только один вопрос с болью возник в нем: «Вот только добра ли она? Ах, кабы добра!»

Когда я вижу удивительное по своей подлинности лицо Варлама Тихоновича, у меня вырывается вопрос: «А вот только открыт ли он! Ах, кабы открыт!»

Это замкнутое лицо. Замкнутое в своем нечеловеческом страдании.

Повторяю: никто не вправе требовать от него забвения, никто не вправе бросить в него камень. Но помочь ему может только тот, кто прошел страдание, равное его страданию, и при этом сохранил всю Любовь цельной и нетронутой. Есть рассказ о Рамакришне, к которому пришел отец, потерявший



«Завещание
Ленина»

единственного двадцатилетнего сына. Рамакришна всплеснул руками и зарыдал. Он рыдал вместе с отцом, потерявшим сына, три дня. А к исходу третьего дня запел гимн. И отец запел вместе с ним.

Что такое гимн, сохранившийся в глубине беспредельного страдания? Это может сказать другой страдалец, прошедший гитлеровский лагерь смерти и погибший там. Его молитву нашли в архивах немецкого концентрационного лагеря. Эту молитву еврейского праведника часто приводит митрополит Антоний Сурожский. Он не видит в ней никакого отличия от самой глубочайшей христианской молитвы:

Мир всем людям злой воли! Да престанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников... Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против их мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе! Положи на весы в защиту палачей, доносчиков, предателей и всех людей злой воли — мужество, духовную силу мучимых, их смирение, их высокое благородство, их постоянную внутреннюю борьбу и непобедимую надежду, осушавшую слезы, их любовь, их истерзанные, разбитые сердца, оставшиеся непреклонными и верными перед лицом самой смерти, даже в моменты предельной слабости... Положи все это, Господи, перед Твоими очами в прощение грехов, как выкуп ради торжества праведности, прими во внимание добро, а не зло!

И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как их жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего большего мы не хотим от них. А когда все это кончится, даруй нам жизнь среди людей, и да возвратится на нашу исстрадавшуюся землю мир — мир людям доброй воли и всем остальным.

Это найдено в архивах немецкого концентрационного лагеря и опубликовано в «Зюддойче цайтунг».

На этом можно было бы и закончить. Но мне очень хочется вернуться к началу. Вернуться в тот мир, из которого вышел Варлам Шаламов — этот Иов XX века. Начало века. Обычный мир, который предшествовал аду. И люди, жившие в нем, хотели искоренить зло. Мир этот, кажущийся в ретроспективе спокойным, уютным и теплым, как само детство, был тоже населен страстями и идеями окончательного искоренения зла, беспощадной борьбы со злыми и порочными.

Очень честный, но очень строгий, суровый отец, священник-рационалист, мечтал о создании нового демократического режима (хотя сам был достаточно деспотичен в своей семье. Не оглядываясь ли на отца своего придумал Варлам Тихонович свою одиннадцатую заповедь — не учить никого, уважать правду другого и его выбор?).

Перед отцом трепетали домашние. Это он велел девятилетнему Варламу собственноручно зарезать козленка в день своего ангела. Воспитывал в сыне суровость и беспрекословное послушание. А мать — сама мягкость, само тепло, сплошное сердце, обнимающее и живых, и мертвых детей своих, и своего все потерявшего ослепшего мужа. Она рассказывает Варламу, приехавшему домой после первого ареста, о братьях и сестрах. Они все разъехались по разным городам, хотя в ее сердце все собраны. А вот одного из них можно навестить. Он близко.

«Пойдем, пойдем, Сереженька будет очень рад», — говорит она, отправляясь с младшим сыном и слепым мужем на могилу старшего... В этой душе и вправду жив мертвый. Это не фантазия, это бесконечная глубина любви, которая осязает духовную реальность, — то, о чем другие могут только рассуждать и воображать.

И говорит она на могиле удивительные слова о том, что никакого такого воскресения, обещанного в Писании, не будет, а просто все так истончатся, что почувствуют то, что всегда есть, а еще не видно. Муж резко отрицает это. А Варламу нравится то, что говорит мама. Прощание со стариками, их последнее свидание с младшим сыном — одно из самых пронзительных мест фильма.

И что бы ни говорилось в дневниках Шаламова об отношении к отцу, режиссер проявил великий такт, оставив все это за кадром и показав только разоренную заколоченную церковь и слепого отца, отдающего последнее, что у него есть, — золотой крест, чтобы было чем накормить приехавшего сына. Он не только отдает этот крест — он сам раскалывает его на куски (принимают чистое золото на вес). Он уже не заставляет никого другого делать это — уже не воспитывает суровость ни в сыне, ни в кроткой своей жене. Он, священник, сам разрубает крест, говоря, что «Бог не в этом». И на какие-то часы восстанавливается уютный стол с горячей едой. Последний птенец вылетает из гнезда, которое очень скоро совсем перестанет существовать.

Но ведь когда-нибудь души истончатся так, что все почувствуют всех, и это будет значить, что мертвые встали. Невероятно, но фильм сделал для этого все, что можно было сделать.